# Разнузданный Эрос

# Джон Апдайк

Дом Маплов полон любви. Шестилетняя Бин любит собачку Гекубу. Восьмилетний Джон, ангелоподобный мистик, не умеющий ездить на велосипеде и различать время на часах, влюблен в героев мультиков, в чудищ с открыток, в свою коллекцию динозавров и в деревянную фигурку носорога из Кении. После школы он проводит в своей комнате долгие часы, раскладывая все эти предметы то так, то эдак, любуясь ими и что-то мурлыча себе под нос. Больно ему бывает только тогда, когда его старший брат Ричард врывается к нему в комнату, заряженный скепсисом, и рвет его плаценту довольства. Сам Ричард-младший питает любовь к жизни и вообще ко всему миру, включая Карла Ястржемского, Бейба Парили[[1]](#footnote-1), хоккеистов из «Бостон брюинз», группу «Битлз» и ту шуструю персону с расческой и усами из зубной пасты под носом, что пялится на него по утрам из зеркала. Он получает от девчонок вызывающие записки, вроде этой: «Дикки Мапл, кончай на меня глазеть». Он приносит их домой в мятом виде вместе с диктантами и каракулями, считающимися результатами проверки его глаз, зубов и легких. Свое отношение к молоденькой миссис Брайс, предстающей перед его пятым классом с эмалированным личиком и студийной дикцией стюардессы, он высказывает с подозрительной неохотой. Почти не вызывает сомнения его постоянная и глубокая любовь к старшей сестре, Джудит. Ей скоро тринадцать, и она уже неуправляема, даже если инструментом управления выступает кровосмесительная, то есть братская любовь. Она самоуверенно заслоняет от него телеэкран, издевается, когда он слушает «Битлз», дразнит его, не жалеет подзатыльников и вообще находится под влиянием мощного космического излучения. Она часами торчит на углу, около дома мистера Ланта, своего учителя истории, пачкает стены своей комнаты переводными картинками с изображениями группы «Манкис», одаривает мать перед сном французским поцелуем, панически боится бессонницы, надолго устраивает на диване томную возню с собакой. Золотистый ретривер Гекуба, стерилизованная сука, носится из комнаты в комнату, терзаемая жаждой обожания, как блохами, прижимает уши и молотит хвостом, бросается на кошек, которые ее не любят, в конце концов валится в изнеможении на кухонный линолеум, радуясь своему поражению, и засыпает.

Кошки, Эстер и Исав, вылизывают друг другу шерстку и едят из общей миски. Они из одного окота. Эстер, мать тридцати с лишним котят, сильно смахивавших на ее братца, стала жертвой мстительности, позаимствованной у черного меньшинства: надоедливый гортанный зов соседского кота привел к тому, что ее стерилизовали, в отличие от Исава, которому из сентиментальности сохранили его мужское естество, отчего он теперь вынужден покидать жилище в поисках блаженства, прежде доступного прямо на дому. Возвращается он изрядно потрепанным. Эстер зализывает его раны, пока он валяется в полуобморочном состоянии у холодильника и даже урчит с хрипом. Выпрашивая ужин, они усаживаются, как книжки двухтомника, соприкасаясь спинками, очень похожие на опытную престарелую пару на пособии. Чувствуется, что Исав все еще любит Эстер, а та его просто принимает. Его платоническое внимание вызывает у нее презрение. Озадачена ли она внезапным исчезновением того, что раньше влекло его так неумолимо? Но озадаченной выглядит, скорее, его квадратная морда, а не ее треугольная. Младшие дети отлично чувствуют разницу: Бин и Джон после стерилизации Эстер стали больше ласкать Исава. Происходит это, возможно, потому, что она лишила их происходившего раз в полгода чуда появления котят, крохотных существ, выползавших живыми из черного отверстия, из загадочной пещеры. Ричард-младший, словно демонстрируя свою мужественность и право на сострадание, ласкает обеих кошек в равной степени: гладит то одну, то другую. Джудит утверждает, что питает к ним ненависть; сейчас как раз ее очередь их кормить, и она ноет, что терпеть не может запах конины. Зато лошадей она любит — пускай абстрактно.

Мистер Мапл любит миссис Мапл. У него бывают, особенно днем в субботу, трудные периоды, когда он не может оторвать от нее глаз, плененный смешным убеждением, будто бы изгиб ее бедра скрывает некое трепетное богатство, вверенное его заботам. Будь на то его воля, он бы никогда не переставал ее трогать. Пока она занимается йогой в своем черном эластичном трико с зацепками, у него заходится сердце и прерывается дыхание. Когда она сливает остатки белого вина в горшки с геранью, ему кажется, что ее движения бесконечны, как те мгновения, которые запечатлевал Вермеер при божественном свете слева. По ночам он пытается прижать ее к себе как можно крепче, пристроиться к ее вялому во сне телу, как будто без этого ему не выжить. Спать в такой позе он не может, но сохраняет ее еще долго после того, как ее дыхание приобретает равномерность забвения; быть может, определение любви простое — это отказ от сна? А еще он любит Пенелопу Вогель, маленькую привлекательную секретаршу из своего офиса, пытающуюся воспрянуть после катастрофического романа с неким уроженцем острова Антигуа; он также влюблен в свои воспоминания о примерно шести особях женского пола, начиная с семилетней подружки, воровавшей его охотничью шапочку; влюблен он, пускай только наполовину, и в смерть. Кажется, он — один на всю страну — любит президента Джонсона, не знающего о его существовании. Еще обожание Ричарда распространяется на Луну, стал бы он иначе так жадно изучать все фотографии ее безжизненной поверхности?

А Джоан? Кого любит она? Безусловно, своего психиатра. Своего отца — неизбежный ответ. Вероятно, своего инструктора по йоге. Она работает на полставки в музее и возвращается домой разрумяненная и говорливая, как после секса. Наверное, она любит детей, то-то они спешат к ней, как воробьи на сало. Они дерутся за местечко у нее на коленях и отворачиваются от своего отца, как будто этот самозабвенный труженик, зарабатывающий им на хлеб, — какой-то нелепый чужак, трубочист на крыше снежного замка. За кого бы он ни выдавал себя детям — за вожатого скаутов, товарища по играм, друга-приятеля, финансовый бастион, колдуна, ночного сторожа, — они его небрежно отвергают; Бин все еще зовет в слезах маму, когда ушибется, Джон просит у нее денег на новые открытки с чудищами, Дикки требует, чтобы она последней целовала его на сон грядущий, и даже Джудит, как будто обязанная быть папиной дочкой, приберегает свой влажный поцелуй для мамочки. Джоан плавает во всей этой любви, как рыба в воде, и больше ни на что не обращает внимания. Любовь замедляет ее шаги, льется на нее из радиоприемника, окружает на кухне в виде детских рисунков с домиками, семьей, кошками, собаками и цветочками. Мужу к ней не пробиться: она живая, прочная, но существует тайно, как Всемирный банк; она правит, но не проявляет пристрастий, словно федеральное правосудие. Что-то холодное и нескоординированное толкает его бессильно свисающую руку; это нос Гекубы. Жирная кастрированная сука с золотыми глазами, она, как и он, до ужаса боится одиночества и лезет из кожи вон, чтобы влить свое тепло в общий котел, всех любит, обожает запах еды, запах жизни.

Пенелопа Вогель старательно избегает в своей речи сантиментов; она на шесть лет моложе Ричарда, но целое десятилетие испытывала муки любви и теперь, в двадцать девять лет, бережет себя и говорит сухо, рублеными фразами совсем юного поколения.

— Нам было хорошо, — рассказывает она о своем антигуанце, — а потом стало плохо.

Она словесно теребит свои прежние романы, как засушенные цветы, сидя напротив него за столиком в ресторане. Ричард нервно дергается от ее деликатности, словно перебирает вместе с бабушкой загадочные хрупкие письма.

— Все кончилось отвратительно, — продолжает Пенелопа. — Что для меня было хорошо, для него оказалось плохо. Он связался с наркоманами. Я не могла на это смотреть.

— Он хотел на вас жениться? — робко спрашивает Ричард, наслушавшийся офисных сплетен.

Она пожимает плечами.

— Было такое дело.

— Наверное, вам его не хватает.

— Не без этого. Больше я таких красавчиков не встречала. Какие плечи! В Диккенсон-Бей он клал в воде мою руку себе на плечо и так, вплавь, тащил меня за собой милю за милей. Он был инструктором по сноркелингу.

— Как его звали? — Ему страшно бередить эти воспоминания, страшно продолжать эти переговоры, поэтому он допивает коктейль и тут же жестом просит официанта повторить.

— Хьюберт, — отвечает Пенелопа, терпеливо вытирая рот салфеткой. — Правильно говорила подруга: нельзя клевать на мужскую красоту, иначе будете драться за зеркало.

Личико у нее маленькое, белое-белое, нос длиннющий, розовые ноздри воспалены от вечной простуды. Только чернокожий, размышляет Ричард, счел бы ее хорошенькой; но эта мысль наделяет ее красотой в неугомонном, кишащем тенями ресторане. Подходит сменить скатерть на их столике чернокожий официант. Пенелопа продолжает, но так тихо, что Ричарду приходится напрягать слух, чтобы расслышать.

— Когда Хьюберту было восемнадцать, одна женщина из-за него развелась с мужем и бросила детей. Она, между прочим, принадлежала к старой плантаторской семейке. Он на ней не женился. Если она так поступила с мужем, говорил он мне, то и от меня уйдет. Он был страшным моралистом, пока не переселился сюда. Только представьте, чтобы восемнадцатилетний парень так подействовал на зрелую замужнюю женщину тридцати с лишним лет!

— Пожалуй, я не стану знакомить его со своей женой, — шутит Ричард.

— Лучше не надо. — Она не улыбается. — Им это раз плюнуть. Настоящие профессионалы!

Пенелопа часто бывает на островах Вест-Индии. Как постепенно выясняется, на Сен-Круа у нее был Эндрю с козлиной бородкой, занимавшийся обработкой отходов и имевший политические амбиции, на Гваделупе — таможенник Рамон, на Тринидаде — Каслри, игравший на альт-сковородах в шумовом оркестре и танцевавший лимбо. В этом танце он мог так выгнуться назад, что от его затылка до земли оставалось всего девять дюймов. Но хуже — или лучше? — всех был Хьюберт, один он поехал за ней на север.

— Он думал, что я стану жить с ним в отеле в квартале Джамайка-Плейн, но мне было страшно даже близко подходить, там сплошь какие-то опустившиеся типы, а лифт пропах «травой». Всего раз я нажала там кнопку вызова и за минуту успела получить два предложения от стоявших рядом парней. Та еще была сценка!

Официант приносит им сладкий рулет. В полутьме ее профиль кажется поникшим, и он борется с желанием вырвать ее, этот бледный цветок, из горшка с мусором, в который она залезла.

— Стало так худо, — делится она с ним, — что я попыталась вернуться к одному старому знакомому, ужасно симпатичному, только с больным от нервов желудком и с мамашей. Он системный аналитик, весь в работе, но не знаю, меня он как-то никогда не впечатлял. Может говорить только про свой гастрит и про то, как мать ему твердит: найди себе жену, в конце концов, а он не знает, серьезно ли она. Его мать.

— Он... белый?

Пенелопа поднимает глаза, ее нож для масла опасно поблескивает, голос становится медленнее и суше.

— Вообще-то нет. Это называется «афроамериканец». Вы против?

— Нет, что вы, просто подумал: нервы, желудок... Не то что другие.

— Да, не то. Говорю же, он меня не впечатляет. Когда имеешь что-то хорошее, трудно возвращаться назад, вы не считаете?

У слов богатый подтекст, хотя ее взгляд вполне равнодушен, но, пока она жует щедро намазанную маслом булку, он пытается решить непростую геометрическую задачу: найти точку, в которой она перешла с белых любовников на черных.

Но тут его занимает новый предмет. Сердце начинает биться сильнее, он наклоняется к ней.

— Видите ту женщину? Ну которая только что вошла. Вся в коже, цыганские серьги, уже сидит. Это Элеонор Деннис, живет неподалеку от нас. Развелась.

— А кто это с ней?

— Понятия не имею. Элеонор больше не принадлежит к нашему кругу. А этот тип с виду настоящий головорез.

Там, у противоположной стены, Элеонор поправляет серьги, осматривается, скользит взглядом мимо его столика.

— Судя по выражению вашего лица, Элеонор была не просто в вашем круге... — произносит Пенелопа.

Он делает вид, что разоружен ее догадкой, но на самом деле считает удачей появление его собственной старой пассии — есть чем компенсировать темный поток ее любовников. Остаток времени они говорят уже о нем: о нем и Элеонор, Марлин Броссман, Джоан и девочке, воровавшей его охотничью кепочку. Перед лифтом в доме Пенелопы он изъявляет готовность подняться вместе с ней.

— По-моему, вам этого не хочется, — говорит она осторожно.

— Как раз хочется!

Дом современной постройки находится в историческом квартале Бэк-Бэй. Свет в вестибюле слепит глаза, искусственные растения в кадках не нуждаются в поливе, в обтянутых искусственной кожей креслах никто никогда не сидел, на мозаичное панно лучше не смотреть. От света некуда деться, это ровное и чистое свечение, как в морозильнике, оно вездесуще, словно эфир или либидо, которое, как утверждает Фрейд, сопровождает нас с раннего детства до гробовой доски.

— Нет, — стоит на своем Пенелопа, — у меня тонкий слух на искренность в таких вещах. Думаю, вы с потрохами принадлежите дому и семье.

— Собака во мне души не чает, — сознается он и на прощание целует ее в щеку под прицелом светильника. Вопреки сухости тона ее губы поразительно мягки, широко раскрыты, горячи, имеют привкус сожаления.

— Так, значит, — обращается к нему Джоан, — ты переспал с этой офисной мышкой.

На календаре суббота, неоформленное эротическое напряжение дня — теннис у нее, сеанс мультфильмов у детей — сошло на нет. Маплы одеваются у себя в комнате, готовясь идти в гости, в окно сочатся пепельные сумерки и размытый свет далекого уличного фонаря.

— Ничего подобного! — отказывается он, хотя допускает, что знает, кого она имеет в виду.

— Ты с ней ужинал.

— Кто тебе сказал?

— Мак Деннис. Элеонор видела тебя с ней в ресторане.

— Разве Деннисы разговаривают? Я думал, они развелись.

— Все время разговаривают. Он ее по-прежнему любит. Это всем известно.

— Ладно. А когда это ты разговаривала с ним?

Как ни странно, на это она не готова отвечать.

— Ну... — Пока она подыскивает слова, у него душа уходит в пятки. — Скажем, я встретила его сегодня в магазине скобяных товаров.

— Неужели? И чего ради ему тебе это рассказывать? Похоже, вы с ним в приятельских отношениях.

Он говорит это, чтобы она возразила, но вместо этого она долго молчит, потом, медленно смещаясь к своему шкафу, сознается:

— Мы понимаем друг друга.

Запугивать его как будто не в ее характере.

— Когда меня там якобы видели?

— Ты хочешь сказать, что это бывает часто? В эту среду, где-то в двадцать тридцать. Наверняка ты с ней спал.

— А вот и нет! Если помнишь, к десяти я уже был дома. Ты сама только вернулась из музея.

— Что тебе помешало, дорогой? Ты оскорбил ее своим несносным одобрением вьетнамской войны?

В такой полутьме он с трудом узнает эту женщину, ее отрывистые движения, хриплый голос. Серебристая комбинация мерцает и потрескивает, пока она натягивает на себя черное вязаное платье; с решительным волнением она расхаживает вокруг кровати, подходит к туалетному столику, возвращается. Чем больше она движется, тем больше объема и динамичной гибкости впитывает из теней ее фигура. Он делает попытку примирения, предлагая в знак его правду:

— Нет, оказалось, что Пенелопа встречается только с чернокожими. Я для нее бледноват.

— Ты сознаешься, что пытался?

Утвердительный кивок.

— Что ж... — Джоан делает полшага в его сторону, и он вздрагивает, как в ожидании удара. — А хочешь узнать, с кем спала в эту среду я?

Он снова кивает, но совсем другим кивком, как если бы между ними вдруг с невероятной скоростью вырос целый континент.

Она называет едва знакомого ему человека, заместителя директора музея с булавкой на воротнике и с длинной седой шевелюрой, зачесанной назад в пижонском английском стиле.

— Было здорово, — продолжает Джоан, пиная туфлю. — Он считает меня красавицей. Так ко мне относится, как тебе и не снилось. — Она сбрасывает вторую туфлю. — Для меня ты тоже бледноват, забулдыга!

Он так поражен, что ищет спасения в смехе.

— Мы все считаем тебя красивой.

— Только ты не даешь мне этого почувствовать.

— Я сам это чувствую.

— А я чувствую себя с тобой уродливой шваброй.

Они пытаются нащупать новые позиции, но он видит, что она, как шахматист, импульсивно сделавший ход ферзем, теперь может только занимать оборону. В отчаянной попытке удержать инициативу она говорит:

— Разведись со мной. Побей меня.

Он спокоен, придерживается фактов, он восхищен собой.

— Ты часто с ним бываешь?

— Не знаю. Это длится с апреля. То прекращается, то опять... — Ей как будто мешают собственные руки, она то кладет их на бедра, то хватается за щеки, то цепляется за столбик кровати, то роняет их. — Я все время пытаюсь с этим покончить. Чувствую себя страшно виноватой, но он не нахал, поэтому с ним не поссоришься. У него становится такой обиженный вид, что...

— Ты хочешь, чтобы он оставался?

— Когда ты знаешь? Не глупи!

— Он ведь относится к тебе не так, как я.

— Как всякий любовник.

— Да поможет нам Бог! Тебе лучше знать, ты специалистка.

— Это вряд ли.

— А как же Мак?

— С тех пор прошло много лет. И это длилось недолго.

— Фредди Веттер?

— Нет, мы договорились не встречаться. Он знал про нас с Маком.

Любовь, как мутные черные чернила, переполняет его нутро, возникает покалывание в ладонях. Он подступает к ней вплотную, ее лицо опрокинуто и напряжено в ожидании пощечины.

— Шлюха! — выговаривает он восхищенно. — Моя нетронутая невеста! — Он целует ее руки, ледяные и порочные. — Кто еще? — умоляет он так истово, словно каждое имя — это драгоценное бремя, которое она возлагает на его опущенные плечи. — Назови мне всех своих мужчин.

— Уже назвала. Вполне аскетический список. Знаешь, почему я тебе сказала? Чтобы ты не чувствовал себя виноватым из-за этой Вогель.

— Ничего ведь не произошло. Это у тебя происходит все.

— Милый, я женщина, — объясняет она. В темнеющей комнате, над немой телевизионной картинкой, они словно бы возвратились к основам своего брака, к его элементарным составным частям. Женщина. Мужчина. Дом.

— Что говорит обо всем этом твой психотерапевт?

— Немного. — Торжествующий всплеск ее исповеди уже позади, в такой угасающей манере она теперь будет днями, неделями отвечать на его вопросы. Она тянется за туфлями, которые в пылу откровенности отшвырнула. — Это было одной из причин моего обращения к нему. Все эти романы...

— Все эти? Ты меня убиваешь!

— Не перебивай, пожалуйста. Все происходило вполне невинно. Я приходила к нему в кабинет, ложилась на кушетку и говорила: «Я только что от Мака, от Отто...»

— Otto? Что за шутки? Если читать это имя задом наперед, получается тот же самый «Otto», а если вывернуть наизнанку — «то-то»...

— ...я говорила: «было чудесно», «ужасно» или «средне», и мы переходили к моей детской мастурбации. Его дело не осуждать меня, а помочь перестать осуждать саму себя.

— Бедняга, все это время я ревновал тебя к нему, а он годами мучился, каждый день выслушивая эту канитель... Ты приходила, плюхалась, еще не остыв, на его кушетку...

— Вовсе не каждый день, даже не каждую неделю. Я у Otto не единственная женщина.

Искусственное смятение на телеэкране внизу сопровождается реальным сотрясением — поднимающимися по лестнице воплями и ударами, которые угрожают аквариуму с Маплами, плавающими, как темные рыбки в чернилах: они едва различимые контуры, знакомые друг другу, словно водовороты тепла, загадочные трещины на поверхности пространства. Боясь, что теперь он долгие годы не подберется к Джоан так близко, что она еще долго не раскроется с такой полнотой, он спешит с вопросом:

— Как насчет твоего инструктора по йоге?

— Вот еще глупости! — фыркает Джоан, застегивая сзади на шее жемчужное ожерелье. — Он вегетарианец преклонных лет!

Распахивается дверь, спальню захлестывает поток электрического света. Ричард-младший не помнит себя от гнева, он рыдает.

— Мамочка, Джуди дразнит меня и все время загораживает телевизор!

— Вот и нет, вот и нет! — Джудит отличается отчетливостью речи. — Мама, папа, он «тормоз» и врун!

— Что поделать, она растет! — говорит Ричард сыну, представляя себе, как Джудит старается превратиться в один из детских силуэтов на экране, и жалея ее, как он жалеет Джонсона, тянущего всеми презираемую президентскую лямку.

В спальню влетает Бин, испуганная скандалом уже не в телевизоре, а наяву, Гекуба с шалыми золотистыми глазами валяется на кровати, Джудит нагло, даже бесстыдно косится на Дикки, тот, захлебываясь от избытка эмоций, выскакивает из комнаты вон. Вскоре из другого угла второго этажа несется ошалелый визг: это Дикки, вторгшийся в комнату Джона, усугубляет тамошний кавардак нашествием своих динозавров. Внизу всеми забытая, одинокая женщина, запертая, к тому же, в ящик, поет про amore. Бин виснет на ногах у Джоан, не давая ей двигаться.

— О чем вы тут говорили? — спрашивает с родительской резкостью Джудит.

— Ни о чем, — отвечает дочери Ричард. — Мы одевались.

— С выключенным светом?

— Экономия электричества.

— А почему мама плачет?

Он не верит своим глазам: по щекам Джоан и впрямь катятся слезы.

На вечеринке, среди клубов знакомых и дыма, Ричард отказывается отходить от жены. Она осушила свои слезы и слегка покачивается, как покачивалась на пляже, когда щеголяла в бикини. Но сейчас ее нагота доступна только его взору. Ее голова, касающаяся его плеча, ее серьезные, вежливые шутки, глубокая нераскаявшаяся расселина между грудей — все кажется по-новому ценным для его свежеиспеченного «я», все обладает новой важностью. Став рогоносцем, он вырос, стал стройнее, приобрел в собственных глазах новое изящество и человечность, невесомость и подвижность. Когда вспыхивает обычный спор о Вьетнаме, он слышит собственный голос, превратившийся в воркование голубки. Он соглашается, что Джонсон не достоин любви. Допускает, что Азия бесконечно сложна, страшно далека, неблагодарна, женственна; но значит ли это, что мы должны бросить ее на произвол судьбы? Когда Мак Деннис, отяжелевший от холостяцкой жизни, приглашает Джоан на танец, Ричард чувствует себя лишенным мужского достоинства и сидит на диване с таким скучающим видом, что Марлин Броссман подсаживается к нему и впервые за много лет принимается с ним флиртовать. Он пытается дать ей понять своим тоном, а не произносимыми бессмысленными словами, что любил ее и мог бы полюбить снова, но в данный момент ему совершенно не до этого, прости. Он подходит к Джоан и спрашивает, не пора ли им домой. Она против: «Это слишком невежливо!» Ей безопаснее здесь, среди выставленных напоказ социальных признаков, поскольку она предвидит, как активно он будет эксплуатировать сданную ею территорию. Любовь безжалостна. В полночь они все же едут домой под плоской луной, совершенно не похожей на свои фотографии: где все эти накрытые тенями каньоны, пронзительные горные хребты, резкие углубления у стальных ног механического предмета, присланного с висящего в небе голубого шара?

Они не знают отдыха, пока он не вытягивает из нее кучу подробностей: даты, места, интерьеры мотелей, определения испытанных чувств. За сим следует самокритичный акт любви. Он вымогает у нее, как должное, новое качество распутства и пытается расплатиться за это, словно старый ловелас, видимостью мастерства. Он успокаивает себя мыслью, что в каком-то основополагающем смысле так и не был отвергнут, что она месяцами билась в объятиях любовника, в мелкоячеистых сетях любви потому, что ее крылья связывали узлы тактичности. Она уверяет его, что призналась при первой же возможности; откровенничает, что Otto брызгает себе волосы спреем и пользуется духами. Рыдая, клянется, что нигде и никогда не встречала такой страстности, как у Ричарда, таких приятных телесных пропорций и изящества, такого вдохновляющего садизма, такой мужской силы. Тогда почему?.. Она уже спит. Дыхание свидетельствует о глубоком забытьи. Он вжимает в себя ее бессильное тело, тратит свое прощение на ее призрачный во тьме силуэт. Удаляющийся грузовик туго натягивает ночное безмолвие. Он чуть было не испытал насыщение; ее исповедь пусть совсем чуть-чуть, но не доведена до конца. На лунообразном циферблате стрелки показывают три часа. Он поворачивается, взбивает подушку, долго не может удобно сложить руки, крутится и вроде как бредет вниз, выпить стакан молока.

К его удивлению, в кухне горит яркий свет, Джоан сидит на линолеуме в своем трико. Он с немым изумлением наблюдает, как она подворачивает ноги в позе лотоса. Он снова задает вопрос про инструктора йоги.

— По-моему, это не в счет, если было частью упражнений. Вся штука в том, чтобы соединились душа и тело, милый. Это пранаяма — управление дыханием. — Она величественно зажимает себе одну ноздрю и медленно вдыхает, зажимает другую и выдыхает. Руки возвращаются ладонями кверху на колени. На лице улыбка. — Сплошное удовольствие! Называется «твист-гимнастика». — Она принимает новую позу, мышцы гибко перекатываются под черной тканью с зацепками. — Ох, забыла сказать, я спала с Гарри Саксоном.

— Нет, Джоан! Часто?

— Когда нам этого хотелось. Обычно мы шли за бейсбольное поле. Там божественно пахло клевером!

— Но почему, милая, почему?!

Она улыбается, считая про себя секунды в этой позе.

— Сам знаешь. Он просил. Когда мужчины просят, им трудно отказать. Нельзя оскорблять их мужскую природу. Во всем есть гармония.

— А Фредди Веттер? Про Фредди ты наврала, да?

— А эта поза хороша для мышц горла. Называется «лев». Только не смейся. — Она встает на колени, садится ягодицами на пятки, запрокидывает голову, широко разевает рот и далеко высовывает язык, словно в желании достать им потолок. И при этом не умолкает: — Теория здесь такая: мы так высоко носим голову, что кровь не достигает мозга.

Он пытается побороть боль в груди, исторгая из себя вопль: «Назови мне всех!»

Она перекатывается к нему, встает на голову, лицо багровеет от старания удержать равновесие и от прилива крови. Она машет ногами, как ножницами, разводя и снова сводя.

— Некоторых ты не знаешь, — продолжает она. — Они ходят по домам и предлагают купить канализационный отстойник. — Голос доносится из живота. Нет, хуже, это жужжание. Он в ужасе просыпается и рывком садится. Вся грудь у него в поту.

Он находит источник жужжания — трансформатор на телефонном столбе за окном. Всю ночь, пока жители спят, город шепчется сам с собой электрическим голосом. Ричарда не покидает страх, реальность того, что он испытал во сне, подтверждается. Тело спящей рядом с ним Джоан кажется маленьким, немногим длиннее Джудит и более тонким из-за возраста, зато ему присуща глубина, бездна таинственности, вероломства и соглашательства; от боязни высоты у него потеют ладони. Он сползает с кровати, как будто пятится от кромки водоворота, снова плетется вниз. После откровений жены ступеньки стали круче, ладони съезжают по скользким стенам.

В кухне темно, он включает свет. Голый пол. Привычные предметы здесь приобретают какой-то просроченный, натянутый вид, как будто сейчас развалятся от напряжения, порожденного их преданной узнаваемостью. Эстер и Исав крадутся из гостиной, где они спали на диване, и профессионально клянчат еду, для чего уподобляются корешкам двухтомника. На часах уже четыре. Ночная вахта. Но, как ни ищет Ричард признаки преступного проникновения, следы своего сна, он не находит ровным счетом ничего, кроме улик, уже самим своим количеством служащих насмешкой, — развешанных повсюду рисунков, творений детских пальчиков, неуклюже сжимающих карандаш: домики, машины, кошки, цветы.

1. Знаменитые американские бейсболисты. [↑](#footnote-ref-1)